

Он выглядел... странно.

Не так, как выглядел обычно.

Походка — некогда танцующая, легкая, пружинистая, пышущая юностью, задорностью, озорством, неразгаданной магией подшучивающих болотных огоньков, ворующая сердца или пробуждающая зависть — сделалась неуволимо скованной, выстраданной, угловатой и чуть неуклюжей. Вэй Ин больше не прыгал, не срывался на бег, не носился вокруг, не подлетал к тянущимся мимо лоткам: просто вышагивал по правую руку, упрямо смотрел строго вниз и всякий раз, прежде чем опустить наземь ногу, легонько схмуривал над переносицей брови, точно длинный, обиженный, искалеченный журавлиный слеток, которому кто-то успел подрезать так и не опробовавшие полета крылья.

Взгляд — мальчишеский, смешливый, сверкающий всеми звездами и созвездиями — тоже поугас, и то синее-синее солнечное небо, что когда-то плескалось в нём, теперь посерело, болезненно и смурно скрежеща клыками о покрытую ржой лунную сталь.

Маленький А-Юань, семенящий следом за ними по шумному, толкающемуся, пестрящему голосами, запахами и красками рынку Илина, чем дальше, тем чаще пытался ухватиться чумазыми ручонками то за знакомую ногу постоянно выбивающегося вперед молодого мужчины, то за полы его дасюшена: темные, почти черные, с полыхающими кровавым костром узорами бросившего всему миру вызов бескланового изгоя.

Вэй Ин же, то ли попыток и паники его не замечая, то ли замечая, но с тревожащей жестокостью те игнорируя, лишь всякий раз ускорял шаг, дергал ногой, стискивал под скрывающими длинными рукавами кулаки и, отворачивая лицо и взгляд, начинал пахнуть так, будто вот-вот собирался сорваться, развернуться на каблуках и...

Просто-напросто сбежать, навсегда — навсегда...? — их обоих позади себя оставив.

Лань Чжань уже задавал ему вопросы.

Самый первый — при свидании, стоило сойти с Бичэня, примять подошвами истоптанный пыльный шлях, стронуться навстречу к болезненно-возлюбленной, болезненно-прекрасной...

...изнуренной, побледневшей, похудевшей, потерявшей жизненные соки и даже внешнее здоровье фигуре, черные тени под нижними веками да в уголках рта которой резанули по сердцу так, что ноги сами собой ускорились, а кисти, едва дотянувшись, импульсивно сжались на перехваченных истончившихся запястьях.

В первый раз Вэй Ин лишь отмахнулся, сказал, что всё в порядке и он понапрасну забивает себе голову всякой ерундой, но... выпутался и отвернулся при этом так нервозно и так неестественно-наигранно, что сердце споро утратило остатки худо-бедно теплящегося покоя.

Во второй раз он спросил его тогда, когда маленький Юань принялся хныкать и плакать, что голоден и что было бы здорово, если бы богатый гэгэ их с бедным гэгэ покормил, потому что на прошлой неделе они почти ничего не ели, пусть бедный гэгэ и запретил ему об этом рассказывать.

Лань Чжань, встревоженный, вновь взялся за словленную худую руку и вновь спросил — прямо, в лоб, пытаясь поймать до боли знакомый и незнакомый одновременно взгляд, и вновь у него ничего не вышло: Вэй Ин отрезал, что всё это детские бредни да пёсья чушь, что всё у них хорошо и что это всего-то нахальная попытка на богатом гэгэ нажиться, вот только...

Только взгляда своего поймать так и не позволил, а руку, немного постояв и подождав, высвободил, пользуясь тем, что Лань Ванцзи — в чём-то кроткий, робкий и лишенный, как он верил, настойчивости Лань Ванцзи — не разрешал себе сжимать пальцев с достаточной силой.

Теперь же они, игнорируя все постоянные и питейные дома, все прилавки и обустроившихся возле обочины бродячих торгашей, игнорируя разговоры о том, куда и зачем движутся, и маленького несчастного Юаня, которого Лань Чжань тоже не спешил поднимать на руки, потому что не был уверен, как к этому отнесется внезапно сам на себя не похожий Вэй Ин, просто гуляли по неопрятным, неухоженным, грязным, больше бедным, чем сытым илинским улочкам — направление выбирал мечущийся туда и сюда Вэй Ин, а Лань Чжань...

Лань Чжань, без возражений за ним следующий, в конце концов не вытерпел, собрался с духом и попытался спросить в третий раз:

— Вэй Ин... Что произошло?

Он постарался не поворачивать к нему головы и лишь чуть скосить взгляд, не давая прочитать и заметить, что на самом деле наблюдает, и наблюдает внимательно, цепко, обреченно, пристально, подхватывая, подмечая и читая каждый вздрог и каждую проскользнувшую ужимку. Постарался притвориться внешне безразличным, пустым, задающим свои вопросы исключительно из правил хорошего тона да светской вежливости, надеясь, что хотя бы это заставит Вэй Ина расслабиться, развязать узлы возведенных бастионов и пропустить наружу подлинные чувства, но...

Не получилось ничего опять.

Вэй Ин тоже скосился в его сторону, стрельнул из-под ресниц припорошенным розоватым закатом шуганным взглядом. Приоткрыл, а потом вдруг вновь сомкнул крелые ленты потерявших цвет и влагу поблекших губ. Завел за спину руки, переплетя друг с другом десяток похожих на веточки-первоцветы пальцев. Расплывчато потрянул головой, будто испуганный, потерянный, обескураженный призрачный вор, восставший однажды в полночь с древнего забытого кургана, спрятал лицо под рассыпавшимися хаотичными прядями и непривычно тихим, непривычно напряженным, непривычно глухим голосом солгал:

— Ничего. Ничего не произошло, Лань Чжань. Я же уже сказал. Не выдумывай и не накручивай себя, ладно?

Солгал.

Солгал криво, слишком очевидно, слишком бездарно — так, будто совсем не успел за прожитую жизнь этому безыскусному искусству научиться, хоть Лань Чжань прежде, еще во время их недолгого совместного обучения, и верил по слепой неискушенной наивности, что уж что-то, а лгать этот мальчишка должен уметь так же легко, как и смеяться, и дышать, и сводить невозможным собой с ума.

Потом — теперь...? — же выяснилось, выплыло, что безупречный нефритовый господин опять так глупо ошибался.

Опять смотрел, не отводил глаз, а так долго в упор не видел того, что всегда, никуда не деваясь и не скрываясь, оставалось лежать на обнажающей озерной поверхности: чистой, честной и без единого изъяна — такой же, как и сам Вэй Ин.

Весь, невзирая ни на что, Вэй Ин.

Вэй Ин, что намеренно отвечал ему неправду, что не желал, не умел, как Ванцзи начинало потихоньку открываться, говорить о себе эту правду вообще. Вэй Ин, что улыбался даже тогда, когда испытывал боль, когда испытывал страх, когда сердце его металось в узкой костлявой клетке, руки и губы тряслись, в глазах застывали разбитые грезы и зеркала, а он молчал, он прикидывался, он лгал наперекор: потому что, и это открывалось Лань Ванцзи слишком поздно тоже, не верил, что ему уместно и позволительно. Не находил для себя ни возможности, ни причины, ни права.

Брел рядом, неловко сутулился, втягивал шею в плечи, которые когда-то казались широкими, твердыми, а теперь Лань Чжань смотрел на них, смотрел жадно, ненасытно, вождедеюще, ломко и с кружащейся, до отказа переполненной головой и опять не понимал: был настолько слеп, или...?

Густая, тяжелая, ставшая еще более длинной грива, словно подпитанная, политая магией и чернотой, как те деревья на отверженных захоронениях, что еще вчера стояли с сухой шуршащей чешуей, а наутро расцвели запретными бутонами, шелестящей вороновой ночью текла за ним следом, соединялась со всполохами алых лент, с алыми кострящимися подолами, рукавами, с нездоровой, уходящей от света и солнца мертвенно-белой кожей, с заливающей всю радужку и весь зрачок пламенеющей рудой...

Другой, изменившийся, но всё еще такой родной, всё еще, вопреки, насейчас и навеки — его.

Такой его, такой красивый, такой ненаглядный...

Такой, что хотелось, просилось схватить — прямо здесь, у всех на виду, — связать, заломить, если станет — а он станет — сопротивляться, закинуть на руки, поднять на Бичэнь и просто унести с собой.

Навсегда унести с собой.

Навсегда от всего отгородить.

Спрятать.

Спасти: и его, и себя самого.

От всех этих взглядов, стрелой да камнем рушащихся из-за каждого прилавка, от оборачивающихся, через плечо кривящихся прохожих лиц, настолько тихих, чтобы не расслышать и с его отменным отточенным слухом, шепотков и переговоров, обрывающихся аккурат тогда, когда они приближались к ним на то самое расстояние. Даже от маленького и ни в чём не виноватого Юаня, продолжающего ныть, дергать за чужую ногу и клянчить внимания да «на руки»: время от времени Ванцзи бросал на него прозрачные стеклянные взгляды, но сердце оставалось пустым, безотзывчивым, ничего не испытывающим и не сопереживающим, потому что единственным, на кого оно умело реагировать, к кому умело испытывать и по кому гореть — был отнюдь не Юань...

Когда же Вэй Ин свернул перед какой-то подворотней, прошел вдоль той, пригибаясь под развешанными между домами тряпками, с осязанным смущением и смятением придерживая те и для всякий раз качающего головой, жалеющего, что не может пойти впереди, Лань Чжаня, и вывел их на новую улицу — гораздо более контрастную, шумную, оживленную, не обремененную ни намеком на приличия, воспитание или стыд...

Лань Чжань остатки своего терпения потерял.

Поджал губы, когда некий мужчина, мимо которого они прошли, с разозлившей, разбесившей фамиллярной сальностью присвистнул вслед тут же передернувшемуся, перекосившемуся, моментально уставившемуся себе под ноги Вэй Ину. До хруста и отсутствующей как явление боли стиснул напрягшиеся в обострившихся костяшках кулаки, когда кто-то другой, с издевкой поцокав языком, демонстративно зашептал на ухо стоящему рядом человеку, который не постеснялся в голос расхохотаться и бросить, если уши не подвели погружающегося в удушливую липкую темноту Лань Чжэня, что-то слишком страшно похожее на:

«Ну, недолго ему осталось радоваться, помяни мое словцо...»

И не выдержал, совсем не выдержал, когда кто-то третий, поступив так намеренно, назло, двигаясь навстречу и проходя вроде бы совершенно с иной стороны дороги, внезапно сменил траекторию, поднырнул вправо в нужный точечный момент и с силой врезался плечом в плечо пошатнувшегося, покачнувшегося, тихо охнувшего, отступившего на несколько шагов назад Вэй Ина.

За той пеленой — черной и красной, смрадной, одержимой, чудовищной и до сосудистого разрыва пульсирующей, — что мгновенно закрыла, застлала ему зрение, Лань Чжэнь не соображал уже больше ничего.

Отметил лишь вскользь и про себя, что вроде бы сомкнул на рукояти Бичэня пальцы. Вроде бы резко остановился, резко же развернулся, намереваясь последнего зарвавшегося ублюдка нагнать и...

Только вот сделать этого не успел, как не успел и преодолеть ни одного-единого шага: потому что на сгиб локтя опустилась та ладонь — истаявшая и паутинисто-светлая, как белая похоронная лилия, — прикосновение которой Ванцзи с закрытыми глазами узнал бы из сотни, из тысячи, из миллиона, а непривычно тихий, непривычно печальный, сломанный и переломанный голос выдохнул, вышептал в напрягшуюся каждой мышцей спину:

— Не надо... Лань Чжэнь, правда... не надо... Не поступай опрометчиво. Не трогай их. Не порти себе репутацию и жизнь...

От слов его — пронзивших, рассекших, перерезавших на дюжину лоскутов да кусков — под сердцем и там, где сияла, никогда не угасая, напоенная небесным теплом золотая сфера, сделалось так больно, так страшно, так... злостно, что Лань Чжэнь, лишь крепче сомкнувшись на Бичэне, через силу обернул голову, обдал ледяным взглядом не понявшее, совсем не понявшее истинной причины этого холода, а оттого еще острее осунувшееся лицо с опечалившимися запавшими глазами. Открыл было рот, не зная пока, чего собирается перво-наперво потребовать — чтобы он его отпустил и позволил или чтобы прекратил лгать и рассказал правду о том, что здесь происходит и по какой причине все вокруг решили, что имеют право так с ним обращаться, вот только...

Не потребовал ни того, ни другого.

Потому что именно в это мгновение откуда-то из-за спины донесся грязный, пропитый, нисколько не таящийся глумливый смех, и голос того, кого Лань Чжэнь совсем не знал, но вдоль чьей шеи так сильно, так одержимо захотел скользнуть задрожавшим, заволновавшимся лезвием накаляющегося в ладони Бичэня, привлекая всеобщее внимание и вызывая немедленный ответный хохот, елеинно-елейно прослащавил:

— Ба! Какая встреча! Да это же сам Старейшина Илин собственный персоной! Ну-ка, ребята, давайте дружно поприветствуем этого господина со всеми причитающимися почестями! Рады-

рады вас видеть, о великий и грозный Старейшина! Желаете что-нибудь приобрести? Только, уж очень надеюсь, сегодня старики да псовые су... то бишь женщины, женщины, я имею в виду, с вашей горы выдали вам достаточно денег, дабы вам вновь не пришлось так позорно торговаться за пророщенный картофельный клубень да сгнивший капустный лист? Ох, ну и умора же, а-хах... аха-ха-ха-хах!

□□

Вэй Ин смотрел на него долго.

Устроился, наполовину рассевшись, наполовину развалившись, возле застенка перекошенной ничейной хижины: кажется, начинали строить, но бросили, то ли поняв, что не нужна, то ли, может, не нашлось достаточно сил и доступного материала, вот в призрачном поселении призрачного Старейшины и образовалось еще одно заброшенное, забытое всеми умертвие.

Впрочем, по количеству цельных, но пустых бутылок и разбитого на крупные и мелкие осколки бутылочного же стекла, открыто валяющегося на мутной земельной поверхности, втопанного под почву так, что складывалось впечатление, будто кто-то намеренно и исступленно колотил по режущим кускам плачущими кулаками, и стекляшкам, поблескивающим то из пучков редкой травы, то — незатейливой беспорядочной мозаикой — вдоль петляющей никлой тропинки, получалось без труда догадаться, что теперь эту постройку, безжизненную и безлюдную, стоящую на отшибе и в отдалении от построек других, использовал в своих нуждах сам призрачный Старейшина...

А именно: вот так вот усаживался под стенами и зияющим провалом вырезанной двери, прикрытой грязной покачивающейся деревяшкой, завешанной еще более грязными тряпками, напивался, спивался, психовал и принимался в порыве душащей злости, бессилия или же тоски швырять и бить невесть где добываемые постоянно бутылки.

Лань Чжань не знал, почему не замечал этой хижины и того, что подле неё творилось, раньше.

Лань Чжань, чем дальше, тем сильнее себя ненавидя и презирая, испуганно, вымученно думал, ненавидя заодно и эту мысль, что лучше бы не замечал и впредь, потому что так было бы хоть чуть-чуть легче.

Потому что теперь, таращась на это проклятое стекло и на эти проклятые бутылки, он чувствовал, что вот-вот задохнется, рухнет, подкошенным, на колени, склонится в колени Вэй Ина, прильнет лбом к разрезающей зубастой земле и, срываясь на сглатываемые слезы, примется молить того всё это прекратить, бросить, сдаться, предать, получается, живущих здесь людей и согласиться с ним уйти. Согласиться хотя бы — пожалуйста... — не сопротивляться и позволить ему его забрать, похитить, да пусть насильно выкрасть и уволочь в Гусу, а потом перевесить все-все грехи и всю-всю жизнь винить его одного, возложив на плечи всю-всю же ответственность.

Лань Чжань не возразил бы, Лань Чжань был бы рад, был бы так счастлив. Лань Чжань нес бы эти грехи и эту ответственность, как самое желанное, самое драгоценное на свете бремя, не испытывая взаправду ни угрызений совести, ни сожалений, но...

Но он медлил.

Всё медлил.

Всё никак не мог решиться, пересилить страх очередного отказа, с концами донести до себя,

что свобода воли и свобода выбора Вэй Ину только вредят, что он совершает одну ошибку за другой, безвозвратно и безжалостно уводя себя — их обоих — во тьму и в смерть, что нужно...

Нужно просто к нему подойти, наклониться, забрать у тела способность двигаться и шевелиться, чтобы не навредил, вырываясь и брыкаясь, в первую очередь самому себе. Перевязать руки и ноги, отнять флейту, разломить пополам эту чертову черную флейту! Оторвать единственного и незаменимого, давным-давно избранного в пожизненные да небесные спутники, от земли, сковать в объятия, крепко-крепко прижать к груди, взлететь и унести домой. Запереть, закрыть, спрятать, не позволяя ни одной душе прознать, прослышать, что произошло, не позволяя ни встретиться, ни заговорить, ни увидеть, ни снова обмануть, обдурить, увлечь, использовать в своих целях, в своей жадности и в своей войне, чтобы потом, когда цели окажутся достигнуты, война — завершена, а слишком неконтролируемое, слишком себе на уме орудие начнет напрягать, нервировать да пугать — повесить на него очередное грязное клеймо и сбросить в очередную же выгребную яму.

Лань Чжань внутренне готов был даже к тому, чтобы первое время, пока Вэй Ин не привыкнет и не успокоится, не смирится и не отдастся ему, держать его на привязи, на цепи, как угодно и что угодно, и пусть бы тот поливал его помоями, пусть бы оскорблял, обзывал, ненавидел, орал, пытался вырваться и сбежать, пусть бы потерял к нему всякое доверие и всякое уважение — плевать. Наплевать. Правда всем сердцем наплевать. Потому что даже так было бы лучше. Потому что даже так Лань Чжань был бы счастлив. Потому что знал бы, что хотя бы таким образом и такой ценой, неволей, почти рабством и раз и навсегда порушенными светлыми отношениями — Вэй Ин в безопасности. С Вэй Ином ничего не случится. Вэй Ин не погибнет, не сорвется в пропасть и никуда от него не уйдет.

Никто, совсем никто и никогда не сможет, не сумеет, не посмеет его у него забрать, похитить, отнять.

Это крутилось в голове, в сознании, в душе и в сердце каждый день, каждый час, каждый выдох и вдох. Это кипело в венах и дрожало храмовым костром с языка свечи в полыхающих безумием глазах, но рот никак не открывался, нужные слова не подбирались, голос застревал, сердце загнанной в клетку птицы колотилось возле отражающих стеклянных ключиц...

И Вэй Ин, здесь и сейчас продолжающий сидеть, привалившись спиной к тронутым сырой гнилью стенным стропилам, равнодушно глотать какое-то пойло, которое даже не разбирающийся в алкоголе Лань Чжань отказывался называть вином, да пространно, долго, почти прозрачно на него глядеть, нарушил, конечно же, затянувшееся молчание первым.

Опять первым.

Повел вздрогнувшими — замерзшими...? — плечами, поболтал перекачиваемой в пальцах бутылку, жидкости в которой, судя по звукам, осталось совсем немного и совсем на дне, и, склонив вправо успевшую неприлично, но трогательно разлохматиться голову, напряженно, настороженно буркнул:

— Что...? Что ты так смотришь...? Чего ты хочешь вообще...? Зачем... зачем опять за мной пошел, Лань Чжань? Нотации читать собираешься, или что?

Лань Чжань уже к этому привык.

Привык к его постоянному скепсису, к никогда не засыпающей настороженности, к тому, как он отшатывался от него, зажимался, закрывался, иногда — физически пятился и отступал, не замечая, что загоняет себя в угол, всеми поступками, всем поведением невольно показывая,

что прекрасно понимает свое положение, свою роль и отведенное место. Как понимает и роль, положение да место признаваемого, принимаемого над собой Лань Чжання.

Лань Чжання, который, если бы Вэй Ин доверился настолько, чтобы уснуть, прижавшись, на его рукаве — отсек бы себе не только этот чертов рукав, но и всю целиком руку, лишь бы не будить, не тревожить и не терять желанного, самого драгоценного, самого бесценного под небом доверия.

Так хотелось решиться, набраться смелости и сказать то самое...

Или, возможно, ничего уже не говорить, а просто решиться, подойти, преодолеть разделяющее их нелепое расстояние, наклониться, схватить и...

Но вместо этого Лань Ванцзи, оставаясь на лицо всё таким же твердым, неизменным, вечным, как лед и как боль, а внутри — скорбящим, стонающим, на самого себя гневающимся, злящимся и бесконечно пылающим, лишь поднял левую руку, вытянул ту и, осторожно отдернув длинный белый рукав, продемонстрировал удерживаемого за ворот маленького Юаня, который пугался его сегодня настолько, что даже не брыкался и не подавал голоса, пока он его, будто неживой неважный предмет, так же за ворот и нес.

Весь-весь небесно-горный путь, проделанный до отрогов мрачной вершины, нес.

— Ты забыл... — растерянно пробормотал он, плавным мазком бровей и глаз указывая на подхваченного ребенка, которого Вэй Ин на самом деле не столько забыл, сколько умышленно бросил: в тот момент бросил, когда последний ублюдок с рынка открыл свой рот и наболтал то разбесившее, раздракотившее дерьмо про пророщенный картофель, гнилую капусту и... остальное. Когда Лань Чжань, теряющий недолговечное терпение, вырвался из не такой и крепкой, не такой и искренней хватки, метнулся к дотрепавшемуся ублюдку, на глазах сжавшемуся, сникшему и едва ли не напустившему под себя от неожиданной вспышки известного своей беспристрастной безучастностью Ханьгуан-цзюня, перекосившегося и изуродовавшего в почерневшем лице почему-то так, что улица мгновенно погрузилась в разрытую могильную тишину...

Когда же Лань Чжань, быстро закончив, разобравшись и остудив вскипающий в венах дым, обернулся к Вэй Ину, то...

Никакого Вэй Ина уже не увидел, отыскав на его месте лишь одинокого Вэнь Юаня, раздосадованно и обиженно всхлипывающего, что бедняк-гэгэ его зачем-то оттолкнул, не взял с собой, оставил и ушел...

Сбежал.

На возвращение мальчишки Вэй Ин не среагировал никак: пусто и безразлично поглядел, понаблюдал, как Лань Чжань, нагнувшись, опустил того на короткие заплетающиеся ножонки. Мальчишка явно перенервничал и перевозбудился, потому что, едва сделав нечеткий шажок, покачнулся так, будто собрался вот-вот свалиться, разбив себе коленки да нос...

И уже затем, когда на совесть послуживший защитный блок прорвало, и мальчишка, громко всхлюпнув, резким залпом в полный голос разревелся, разрыдался, проливаясь брызнувшими по щекам слезами и потекшими из покрасневшего носа соплями, а после — бросился, будто приходился ему самым что ни на есть родным сыном (Лань Чжань всеми силами, всеми лихорадящими доступными силами старался гнать от себя эту болезненную, сводящую с ума, на мясо раздражающую мысль прочь), к оторвавшему бутылку от губ

Старейшине — безразличие с последнего спало.

Безразличие спало, но в опасно поалевших, потемневших глазах успело разыграть отравленное ежевичное вино, тело его напряглось пружиной, подобралось, загрубело в отпрянувших ближе к поддерживающей стене формах...

На одно короткое мгновение Лань Чжаню показалось, что Вэй Ин...

Вэй Ин его не...

Узнал.

Не узнал, не понял, кто это, что это за ребенок, чей он, почему он к нему бежит и чего от него хочет; в глубине его глаз вспыхнул почти настоящий испуг, тело уже очевиднее попыталось отпрянуть и отстраниться. Возможно, опять убежать, хоть и убежать не получилось — лопатки и затылок с глухим стуком ударились о перекрывающие дорогу бревна, он затряс головой, тихо-тихо простонал, а когда поднял обратно ресницы и веки — опять резко, неестественно резко переменялся в лице.

Теперь на нём читалось раздражение, загнанность, бессилие, усталость и черная, лютая, набухающая убивающей опухолью злость...

Которую немедленно перехлестнуло и высвободило, выпустило наружу, стоило лишь добежавшему мальчишке ухватиться ручонками за его ногу, притиснуться к той, потянуть за штанину и за грязный, пыльный, давно прохудившийся изношенный сапог и запинаящимся булькающим визгом заверещать:

— Гэгэ, гэгэ, Сянь-гэгэ, бедный... бедняк-гэгэ...!

Лань Чжаню, такому же напряженному в каждой мышце и жиле, готовому, если понадобится, сорваться, броситься и перехватить, но пока продолжающему молчаливо, безучастно наблюдать, подумалось, поверилось, что Вэй Ин вот-вот поднимет руку и цепляющегося за него Юаня ударит, но...

Тот не ударил.

Тот действительно поднял руку, до побелевших костяшек стиснул в кулаке бутылочное горло. До тотчас выступившей крови прокусил губы, прорычал, простонал, провыл несчастным измученным зверем, замахнулся (и Лань Чжань осознал, что не встрял, не остановил бы даже здесь)...

И, гаркнув, рывкнув громкое, дрожащее на голос, впадающее в истерику и в подступающий срыв:

— Я же велел тебе так меня не называть! — зашвырнул бутылку о землю, поднимая наполовину звонкий, наполовину приглушенный стеклянный град, осыпающийся очередной пригоршней мокрых, едких, зубоскалящих, пахнущих страданием и кислым брожением осколков.

Лань Чжань, чье сердце обливалось черной-черной болью и белой-белой мукой, не сдвинулся с места, понимая, что если потянется, позовет, тронет сейчас — то сделает только хуже; лишь глаза его, мечущиеся заострившимися зрачками, старались со всем вниманием оглядеть и убедиться, что Вэй Ин нигде не поранился и ничем себя не порезал.

А-Юань же...

А-Юань, расширившимися, еще сильнее помокревшими глазами таращась на шумно дышащего, почти задыхающегося, перекошенного и перекривившегося, до неузнаваемости изменившегося молодого мужчину, чья улыбка бесследно пропала, чья грудь бешено и злостно вздымалась, по чьим губам и подбородку текла кровь, чьи глаза полыхали диким красным сумасшествием, а кисти, лишившиеся бутылки, безотчетно врывались в землю, перекатывая между длинных тонких пальцев сырые темные комья да вскормленные человеческим прахом сорняки...

Заорал.

Заорал, запрокинул голову к небу и, принявшись драть пальчонками надетое на себя тряпье, завыл, заныл и заревел так, вскрывая виски и перепонки пронзительным истеричным визгом, чтобы и дальше оставаться в стороне от чужого внимания и чужих ушей не получилось.

Лань Чжань сумрачно, с натягивающей узду паникой думал, оставаясь холодеть лицом и лишь сильнее супиться, хмуриться тонкими черными бровями, что нужно немедленно это прекратить, нужно подхватить Вэй Ина и увести, унести его отсюда вон, пока не пришли остальные, чье присутствие гарантированно обещало послужить катализатором к финальному катастрофичному взрыву...

Однако ни додумать, ни чего-либо сделать он не...

Не: впереди, там, где тлела и клубилась между узкими скальными утесами тусклая серебристая близь, один за другим вспыхнули, разожглись подсвеченные бумажные фонарики, заволновались вспорхнувшие воро́нами да вóронами размытые голоса, заскрипели и завизжали открываемые и закрываемые двери...

Лань Чжань, беря себя в руки, стискивая пальцы в белые кулаки, наконец-то очнулся и шагнул было Вэй Ину навстречу — мягко, но решительно, не спуская с его удивленного, испуганного, истерзанного лица обуянных клятвенной одержимостью глаз...

И не успел.

Снова не успел.

Потому что не учел, что позади них находиться кто-то мог тоже, и этот кто-то, поднявшись по единственной ведущей сюда тропе и то ли так неудачно совпав, то ли просто оставаясь всё это время в тени, чтобы не усугублять ситуации и не попадаться лишний раз Ханьгуан-цзюню, которого здесь боялись куда больше, нежели спасшего, положившего себя в жертву и на заклятие темного отступника, на глаза, тут же себя явил, едва заслышав надрывающийся, беснующийся, сводящий с ума детский плач.

Плач того, кто был одним из них, кто был кровно, понятно, безусловно и по всем правилам да законам своим, и кто, хоть Лань Ванцзи и старался не подпускать это чувство слишком близко к себе, но безнадежно своим стараниям проигрывал, отзывался в его меридианах, в его бьющейся душе злостным седым раздражением: потому что мальчишка Юань ревел по надуманному пустяку, потому что ему не было ни больно, ни плохо, потому что он и так постоянно вертелся рядом с Вэй Ином. Потому что до самого Вэй Ина дела, настоящего дела не было ни здесь, ни за пределами отверженного лагеря с горы Луаньцзан никому, никто не думал, не помнил о «плохо» его, и потому что...

Потому что из-за них, из-за всех-всех них Вэй Ин...

Его прекрасный, чудесный, добрый Вэй Ин, достойный совсем другой жизни и совсем иных дней, изводился, мучился и...

Погибал.

Вэй Ин словно не чувствовал, не видел их приближения до последнего: быстро и грубо мазнул ребром дрожащей ладони по подбородку и губам, собирая на рисовый кожный шелк темную алую кровь, после — небрежно отер ту о ткань второго рукава, подкармливая нашитые языки живым соленым пожаром. Затем, будто вновь уснув и вновь очнувшись, лишь позабыв перед пробуждением пробудить и свою память, рассыпанную по ветру безмятежным желтым просом, округлил восходящие красной луной глаза, поглядел на вопящего ребенка со смесью смтения и тоже детской оторопи...

И тогда уже заметил.

Заметил, что в злачном этом месте, месте, перекаркивающемся сиплым клекотом костяных воронов да скрипом отпертых сгнивших дверей, находились уже не только они трое: сам владыка призрачных воронов да поднявшихся из земли мертвецов, захлебывающийся слезами ребенок и молчащий, точно еще один покойник, белый-белый человек с застывшими в радужках горькими травами.

Заметил, как те люди — пять, шесть, семь сгорбленных, переполошенных, унылых стариков и старух с иссеченными тревогой, испугом, недоверием и морщинами лицами, — что взобрались по одинокой каменной тропе, замерли в приблизительной четверти ли от них и теперь неуютно перетаптывались, переговаривались осыпающимся пыльным шепотом, не решаясь ни подойти, ни отступить обратно в тень.

Заметил их мутные, словно у овец или недалеких домашних птиц, взгляды, шире и глубже перекидывающийся от тела к телу страх, подкожно ощутившуюся убежденность в том, что он наверняка что-нибудь темное, запретное, дурное с мальчишкой, с их родным визжащим мальчишкой, сотворил...

Заметил и, скрежетнув зубами, круто, чуть неуклюже, полупьяно пошатываясь, вздернулся на ноги, подняв вокруг себя ослепивший ореол из закатно-киноварных подолов, полов, рукавов, лент, нечесаных диких волосьев, кисточки с отполированной черной преисподней кровью Чэньцин.

Голос его в равной мере хрипел и трясся, преломлялся и почти плакал, когда вытолкнул сквозь скривленную губную щель презрительное, металлическое, обращенное к попытавшемуся было податься следом Юаню:

— Проваливай!

Затравленный взгляд прижатого под горло зверя, бессильно защищающегося да скалящего окропленные пеной зубы, до глупой благородности не решающиеся разомкнуться и укусить, метнулся по стронувавшему с места Лань Чжаню, беспомощно вскинувшему оцарапавшую пустоту руку, по завалившемуся на задницу всхлипывающему мальчишке, по продолжающим таращиться и перешептываться собравшимся Вэням...

— Проваливайте! Черт... Все проваливайте! Слышите меня?! Заберите его и проваливайте от меня! Вон! Пошли все вон!

...и как бы Лань Чжань ни желал его остановить, как бы ни рвалась из костей его душа, извоясь и мечась еще одним одичалым зверем...

Он вновь не сумел, не осмелился сделать ничего, кроме как стиснуть пропоровшие ногтями ладони кулаки, прикусить губы и позволить Вэй Ину, развернувшему черный огонь своих невидимых призрачных крыльев, обогнуть мертвую хижину, повернуться к ним ко всем спиной да рвануться, броситься вверх по такой же мертвой тропе.

Уходя, убегая, улетаая туда, где спала одиноким бессонным сном его одинокая бессонная клетка.

□□

Лань Чжань в одинаковой степени знал и ненавидел на этой горе всё: все тропки, все склоны, все места, где обрели последнее пристанище отвергнутые, провисшие на тонкой нитке люди, доживающие свои дни лишь ценой жизни того, кто их так отважно, так... безрассудно спасал. Знал и ненавидел каждую хижину, то калечное, недостроенное, неуютное и тесное пространство с четырьмя большими общими столами: пространство, в котором все эти люди вечерами собирались, где кряхтела, покачиваясь и осыпаясь во время поднимающихся ветров, ненадежная прикрывающая крыша, под чью сень Вэй Ин его однажды увлек, попросив составить ему за ужином компанию, а Лань Чжань...

Лань Чжань не сумел отказать, хоть и до остервенелого исступления желал схватить того за руку, дернуть за собой, спуститься с горы и увести на любой нормальный постоянный двор, чтобы накормить хорошей едой и уложить отдыхать в хорошей постели.

Лань Чжань мог бы с завязанными глазами обойти здесь все отведенные под сельскохозяйственные нужды участки, где Вэй Ин, как постоянно в добром расположении духа болтал, умильно надувая щеки, мечтал вырастить картофель, но картофель не рос, а потому черная, скупая, снова и снова вспоенная трупным прахом земля насквозь пропиталась едко-грибным, едко-сырым запахом всходящей горькой редьки: тоже бледной, недоношенной, слабой и совсем, пусть Лань Чжань и стискивал зубы, стараясь смолчать и не обидеть, непригодной в пищу.

Именно здесь, где они жили, не росло ни деревьев, ни кустарников, ни почти что травы — один лишь глубинный, глубокий, обнесенный со всех сторон давящим камнем котлован с фэн-шуем настолько удручающим, настолько ужасным, чтобы прихватывало под горло даже от мысли, чтобы остаться здесь спать, остаться здесь есть, остаться здесь жить и дышать...

Больше же прочего Лань Чжань знал и ненавидел ту пещеру, в которую заточил себя Вэй Ин и в которой с тех пор проводил каждую свою ночь, свернувшись, скрючившись на холодном голом полу, оставив зажженными десятки свечей и десятки пульсирующих нарисовавшей кровью, обхвативших стены да своды защитных талисманов. «Не будь таким дотошным брюзгой! Спать на самом деле можно где угодно, второй молодой господин Лань», — с напускной беззаботностью отмахивался он всякий раз, как Лань Чжань, зависая, нависая над его «ложем», низко опускал брови, напрягался в плечах и поджимал полоску закушенного рта. — «Где угодно, если принести достаточно одеял и хорошенько в те завернуться. И прекрати ты уже так смотреть!»

Однако же то, что он называл «одеялами», в реальности представляло из себя груды старого, драного, изношенного, перепачканного тряпья, которым здесь задрапировывали двери да окна и которое Лань Чжаню так истово хотелось разорвать, рассечь, разрезать, растоптать ногами,

чтобы не смело касаться своей грязью, ввевшейся кровью и разящей плесенью тонкой, бледной, совершенной, заслуживающей вовсе не этого кожи.

Лань Чжань ненавидел это место, ненавидел эту гору, ненавидел эти «одеяла», ненавидел всех этих людей. Ненавидел эту пещеру, которую Вэй Ин, как признавался иногда, делил со своим Призрачным Генералом: поначалу для того, чтобы за потерявшим рассудок и разум мертвецом следить, а затем уже Генерал, возвратившийся и возвращенный, приходил к призрачному Старейшине, без слов садился поблизости и так до самого утра сидел, чутко научившись различать те ночи, когда хозяин страшился и не желал, как бы ни кричал и ни гнал, оставаться в нашептывающем на уши одиночестве.

Лань Чжань ревновал, мучился, мечтал закрыть себе ладонями уши, не слушать, не слышать этого голоса и этих слов. Схватить за руку, за запястье, украсть, похитить, остановить это всё, уволочь отсюда силой, отыскать в себе негибачый железный стержень, вырасти из мальчишки в мужчину, сделать всего один шаг — тот, за которым навсегда отметется, отрежется прогоревшая дорога назад...

А сам опять стоял здесь, на грани этой чертовой пещеры, сжимал под балдахинами рукавов кулаки и пальцы, колотился сердцем так, чтобы изнутри гложуть, и остро, колюче, не отводя взгляда и почти не моргая, смотрел на Вэй Ина.

Таращился на Вэй Ина.

Вэй Ина, за которым бросился, которого ненадолго упустил и потерял, но прекрасно знал, куда отправиться и где проверить, чтобы утерянное в самом скором времени отыскать и вернуть. Вэй Ина, который расположился неподалеку от входа в пещеру, перебрался ближе к обрыву, привалился спиной к зарубцевавшемуся клыкастому камню, запрокинул голову, раскидал в стороны длинные стройные ноги, успел где-то подхватить очередную бутылку и, гуляя пальцами по её горлу, смотрел в ответ на него тоже: горько, диковато, неудобно, недоверчиво и щемяще снизу вверх.

Смотрел выжидающе, вымученно, насупленно и нахмуренно, то приоткрывая, то вновь закрывая рот...

Пока в конце всех концов не смирился, не вспомнил и не принял, что человек над ним, угрюмый, холодный и постоянно кажущийся лишенным всего человеческого человек, нависающий еще одной довлеющей молчаливой скалой, ничего, разумеется, не сделает и не скажет, так и продолжая наступать на нервы да на душу белым призрачным извечием.

Лань Чжань мог заниматься этим долго, мог, наверное, даже целую ночь напролет, практически не отличаясь от переставшего нуждаться в дыхании да во сне Вэнь Нина...

И Вэй Ин, отведя взгляд так, чтобы всё еще настигшего Ханьгуан-цзюня видеть, но видеть кромкой да размытой по той тени, тихо ругнувшись да подтянув к груди согнутое колено, с зачавшим отныне подозрением выдохнул, готовясь, судя по напрягшимся контурам да подобравшейся позе, чуть что — так сразу отпрянуть, взвиться на ноги и либо опять удрать, либо ринуться в бессмысленную драку: верил ведь, что мог одолеть и одержать верх, и вовсе не догадывался, что мог, действительно...

Но лишь потому, что так позволял Лань Ванцзи, не дающий себе распускать рук и прикладывать ту силу, которой бы глупого-наивного Старейшину связало, сокрушило и смело.

— Что...? Что ты так уставился, Лань Чжань? Чего еще ты от меня хочешь? Зачем пришел? Я

думал, что ты вернулся к себе домой... А ты снова здесь. Почему?

Говоря всё это, он беспокойно ерзал, проводил кончиком языка по приманивающим, перехватывающим дух тонким губам, припухшим и порозовевшим в равной степени и от выкушенной крови, и от прикладывающегося, обласканного горлышка винной бутылки...

И кто бы знал, кто бы только знал, как трудно, как тяжело Ланью Чжаню было сдержаться, не наклониться, не прильнуть к нему, впиваясь в эти губы, однажды уже испробованные и навсегда себе подчинившие, покорившие, озверевшим от голода и жажды безжалостным поцелуем, сминающим и кусающим так больно, так сладко, так хорошо, чтобы уже всё...

Всё.

Вместо же этого он продолжал стоять.

Смотреть.

Таращиться.

Желать.

Заламывать пальцы в кулаки и, едва-едва справляясь с отказывающим дыханием, тихим, ровным, ничем не выдающим, ничего, на первый взгляд, не испытывающим голосом отвечать — с напором, ударением, выхватывая единственно важную и имеющую значение сердцевину и игнорируя остальную разбросанную шелуху:

— Тебе плохо. Поэтому я здесь.

В одичавших, гвоздично-алых, отпустивших невинное небо и невинные облака глазах всколыхнулось что-то чистое, неподдельное, удивленное и изумленное, почти беспомощное и обескураженное...

Затем же, будто тоже это почувствовав, осознав в полной мере, а оттого еще больше разозлившись — не на Лань Чжаня, а, должно быть, на самого себя, — Старейшина Илин матернулся, быстро отвернулся, мазнул по сгустившемуся вязко-серому воздуху перьями прядей и, нервно поскрибав донышком бутылки о скалистый пол, с бесчестной нарочитой едкостью отозвался:

— Как ты там любил мне постоянно раньше говорить, Лань Чжань...? Что-то про... О. Точно. Вспомнил. «Ты бредишь». Верно? Давненько я, кстати, от тебя этого не слышал... Почему, хотелось бы мне знать... Но да, как бы там ни было, позволь тогда мне. Так вот. Еще раз: со мной всё в порядке, поэтому и получается, что ты бредишь, Лань Ванцзи.

Тембр и тон его голоса оставались мягкими, будто прикосновения пальцев, снимающих с губ сиротливые снежинки. Он едва ли не мурлыкал, точно гибкий, хитрый, играющийся бродячий кот, вот только каждое произнесенное слово ютило в себе черствый мороз, царапало серпами ядовитых когтей и старалось ударить, отыскав плохо спрятанное уязвимое местечко, настолько болезненно, насколько бы лишь получилось.

Он справлялся с поставленной перед собой жестокой задачей легко, изводил слетающими со рта звуками душу и плоть стоящего перед ним человека в белом, лгал, юлил, дурил, отвлекал, пытался запутать да сбить с толку, однако...

Лань Чжаню было всё равно.

Лань Чжань и без его напоминаний, без его циники клял себя прошлого за то, как с ним обращался, за то, что и как ему говорил, как смотрел, как поступал и с какой напускной отстраненностью относился, за все минувшие годы не назвав ни слова правды и более чем заслужив нынешнее Вэй Иново поведение.

Поэтому он лишь коротко покачал головой, беззвучно вздохнул и, баюча разливающееся в груди щемящее грустное тепло, упрямо повторил:

— Нет. Я не брежу. Тебе плохо, Вэй Ин. Я ведь вижу. Я... чувствую.

Он видел, что Вэй Ин этого делать не хотел, но импульсивность и горячность, нога в ногу сопровождающие его на жизненном пути, а в последнее время еще и подстегнутые заставляющей танцевать на черте обрыва вобранной темнотой, вновь спровоцировали, вынудили поступить по-своему. Вновь дернули за нитки, и призрачный Старейшина, предупреждающе прорывав, повернул к белому мужчине голову, вперился в того взъерошенным, терновником впивающимся взглядом, окрашенным в растаявший горький шоколад да пролитое поверху бордовое вино...

И по слогам, по обрывающимся, взлетающим и падающим слогам прошипел, прохрипел, набрасывая на худое лицо угрожающий волчий оскал:

— А я сказал, что ты бредишь, Лань Ванцзи! Мне не плохо! С чего бы, твою мать, вообще?! Пожалуйста, я уж очень вас прошу, уважаемый Ханьгуан-цзюнь: проваливайтесь отсюда и возвращайтесь обратно в ваш драгоценный Гусу. Местный воздух негативно сказывается на вашей уточенной натуре; только посмотрите на себя! У вас начались галлюцинации, вы бредите, а еще и умудряетесь это отрицать!

Он дышал тяжело, со взмыленными свистящими сипами, стискивал до струн натянутыми пальцами бутылку так, что та должна была вот-вот треснуть, входя в беззащитную мякоть опасным частокотом замаранных витражей. К полосующим кошачьим когтям примешались кусающие волчьи зубы, почти-почти согласившиеся отпустить свое прежнее порожнее благородство...

А Лань Чжаню было всё еще наплевать.

Лань Чжань испытывал боль, да, боль стрелой проносилась сквозь переплетения и русла его духовных рек, сквозь венозно-лиственный ковер нашитой на кости души, но всё, о чём у него выходило думать — это бутылка в пальцах Вэй Ина и его глаза. Бутылка, пугающая тем, что могла с мгновения на мгновение удерживающую бледную руку поранить, и глаза, в которых не блеснуло ни капли слез, но которые тем не менее не плакали, нет, а...

Рыдали.

Страшной сухой смертью рыдали.

Лань Чжань вновь мотнул головой, не сводя встревоженного взора с грубого темного стекла, и вновь открыл рот, уперто и с нажимом повторяя в третий злополучный раз:

— Я тоже сказал, что не брежу. Вэй Ин! Тебе... — закончить, правда, он не успел, оказавшись на полуслове, на полувдохе перебитым окончательно всплывшим, разъярившимся и выведенным из равновесия Старейшиной:

— Черт подери! Черт же тебя подери, Лань Ванцзи!

Вэй Ин дернулся, подобрался и подорвался вдруг так, что в голове у Лань Чжаня, жестко стиснувшего челюсти, до белого звона напрягшегося, приготовившегося к любой выходке и к любому исходу, стеной встало изображение того, как тот поднимается на ноги, хватается за свою флейту и действительно на него бросается, намереваясь втянуть в очередную, заведомо поддающуюся, заведомо неравную драку, но...

В самый последний момент тот почему-то...

Передумал.

В самый последний момент тот привстал... а затем резко, грузно, подбитой ослабшей птицей упал обратно наземь. С удара вбился лопатками и затылком в каменную преслону позади себя, выпустил из пальцев уцелевшую, не поранившую бутылку, что с глухим придавленным звоном покатила по убывающему уклону вниз...

После чего подтянул к груди согнутые в коленях ноги, обхватил те руками, сжался, свернулся всё тем же обиженным журавлиным детенышем, уткнулся лицом в выступающие острые шишечки...

И, теперь, вот теперь уже не просто чиня боль, а уничтожая, умертвляя в сердце застывшего Лань Ванцзи всё, что в том пока еще оставалось, крутилось, росло и доживало, сдавленным, задушенным шепотом, перемежающимся между плачущим хохотом и смеющейся истерикой, захрипел:

— Да что же ты заладил... Что же ты, черт возьми, заладил...?! Зачем ты вдруг разговорился, Ханьгуан-цзюнь...? Молчал бы и дальше себе в тряпочку, а... Не поверишь: я столько лет мечтал, чтобы ты соблаговолил со мной заговорить, чтобы обратил на меня свое божественное внимание и что-нибудь нормальное, хорошее, доброе мне сказал, а теперь... теперь я начинаю думать, что к черту бы такие мечты... К черту бы такие разговоры... Ты с ума меня ими сведешь, если так и продолжишь, слышишь...? Так что стань... стань, прошу тебя, старым добрым Лань Чжанем, который предпочитает только мыкать да называть меня бесполезным убожеством, и ничего — ничего, ладно...? — иного не говори...

Сердце почти не билось, почти не стучалось, когда Лань Чжань, потерявший слова, голос, память, всего прежнего и будущего себя, на негнущихся, задеревеневших, не слушающихся, но при этом таких рыхлых, таких немощных, таких подгибающихся ногах к нему подходил.

Приближался.

Накрывал своей тенью всю-всю его внезапно такую маленькую, такую истончившуюся, такую беспомощную заблудшую фигурку: отчаянно скрывающую лицо, содрогающуюся в плечах, но не позволяющую себе обронить вслух ни звука, чтобы привязавшийся, мучающий, никуда не девающийся и не уходящий белый человек не догадался, что...

Что.

Когда, ломающимися пальцами, ломающимися когтями хватаясь за нежные запястья своих несбывшихся грез, подернувшихся инеем да покрывалом разведенных молочных костров, осторожно опускался с ним рядом, садился на покрытый копотью, прахом, пылью мертвецкий пол, почти прикасался, задевал коленом, но оставался всё равно на грани, всё равно «почти».

Сухой, горький, словно поprobованная на язык полынь, ветер трогал длинные алые ленты, тоже окрашенные в кровь, всегда окрашенные в кровь. Тормошил их, гладил, пускал в полет, а затем снова натягивал привязь, завязывал узел, укладывал горящими кончиками на белые-белые одежды сидящего рядом человека, и тот, глядя на них, невесомо трогая, оглаживая самыми кончиками и ногтями, думал, что они вместе, красный и белый, похожи, так похожи на сплетенную магию проступающей на морозном окне рябины.

На то, как кто-то отчаявшийся, отчаянный, приносил в большой плетеной корзине багряные кленовые листья, подносил их к тому пустому, седому, охваченному льдом и зимой белому морю, возле берегов которого таких кленов, таких листьев нивовек не росло, а кто-то этот переворачивал корзину и выпускал их, и покрывал бесцветные буруны пятнами оживляющей спелой кошенили...

И пальцы, его собственные пальцы, отсвечивали почему-то тоже морозным и небесно-голубым, и затенки складывались так, будто на сгибах, на подушках проросли, пробились сложенные из салфеток бумажные бегонии.

И Вэй Ин — изменившийся, неизменный, другой и навсегда тот — плакал, переодевая всхлипы и рыдания под ругань и рык, и плечи его тряслись, и так хотелось опустить на эти плечи руку, обнять, прижать, спрятать у себя на груди, оплести объятиями, укрыть, закрыть, забрать и спасти, чтобы хоть когда-нибудь вновь услышать звонкий ручейный смех, а не орущий, воющий космос его погибающей волчьей души...

Так хотелось разлепить губы, разодрать до крови и мяса губы, зажмурить глаза, продырявить ногтями ладони, но выдавить этот злосчастный вопрос, назвать его, выплюнуть, породить, даже если вопрос этот был таким низким, недостойным, не заслуживающим ни надежды, ни права, ни ответа. Спросить:

«Тебе важны...

Неужели тебе настолько важны все эти — чужие мне, чужие тебе... — люди...?»

Страшнее, больнее, безнадежнее делалось от осознания, от ощущения, что ответ был известен им обоим и так, что он лежал на поверхности, покачивался на седых волнах теми самыми багряными кленовыми листьями. Ответ отражался в спрятанных драгоценных глазах, в глазах ежевичной луны и разбавленного с кровью вина, и имя его начиналось вовсе не на «да», а на «не...».

Имя его начиналось на «н».

Еще сильнее, отчаяннее молилось в десятый, в сотый, в тысячный раз подать голос и задать вопрос иной. Тот старый закоряченный вопрос, который принес им столько боли, который терял последнюю затухающую свечу, в котором не трепыхалось уже ничего, кроме обглоданного серого скелета да опавшей соломы некогда живых да струящихся весенних волос.

Молилось перехватить его руки — теперь уже не за запястья, а за ладони, за хрупкие спицы замученных выпитых пальцев, — встать перед ним на колени, наклониться, прижаться лбом к полам его одежд, скрыть намокающие дождем глаза и прошептать, проскулить, кровью по душе и коже выписать, вырезать:

«Пожалуйста...

Вэй Ин, Вэй Ин, мой Вэй Ин, пожалуйста, прошу тебя, заклинаю тебя, пойдём...

Пойдём со мной...

Позволь мне увести тебя, позволь мне забрать тебя в Гу...»

— Лань Чжань...

...а потом оказалось, что он не заметил.

Пропустил.

Не увидел.

Смотрел в себя и смотрел в пустоту, смотрел в вечеряющее мрачное небо, рассекаемое колесницей из первых и тоже странно кровавых, странно огнистых звезд...

А Вэй Ин смотрел на него.

Вэй Ин уже не плакал, хоть и слезы стекали по его запавшим бескровным щекам. Не рычал, не ругался и не притворялся, хоть и губы его, пытающиеся улыбаться некогдашней солнечной улыбкой, улыбкой заточившего в глазные кристаллики небо мальчишки, грустно трескались, протекали кленовыми листьями, глядели иссеченными уголками, лишенными судьбы и крыльев, вниз да во прах...

И лишь сегодня — Лань Чжань знал это так твердо и так ясно, как не знал больше ничего, — лишь в прощальный за жизнь раз позволяя себе окунуться в наивное смеющееся небо, в закончившееся отвергнутое прошлое, в честность, правду, растаявшую быль и застывшую на веточках понурых ресниц боль...

Подвинулся к нему.

Подвинулся, придвинулся, пересек последний пропащий цунь, оставленный сотряхнувшимся всем существом Лань Чжанем. Привалился к белому боку, прижался щекой к белому плечу, потерялся о то с той печальной лаской, от которой сердце белого человека разломилось на мертвые бутылочные витражи, рушащиеся вниз и в падении режущие, вспарывающие всё, что попадалось им на пути и что складывалось в такой сложный и одновременно до нелепости простой иероглиф...

И чувствуя, наконец-то чувствуя на своих ладонях чужие белые пальцы, холодные нефритовые пальцы, накрывающие мозолистыми касаниями и застывающие на остывающей коже самым теплым, единственным теплым одеялом, в пустоту переливающим всю самоотверженно дарящуюся жизнь, опустив веки, чтобы не видеть рассекающей стремительно чернеющее небо огненной колесницы...

Прошептал:

— Лань Чжань... послушай, хороший мой Лань Чжань... давай с тобой договоримся, второй молодой господин Лань... Если со мной однажды всё станет хуже... если ты поймешь, что иначе уже нельзя... если я окажусь у последней границы и начну себя с концами терять... тогда пожалуйста... заberi меня с... собой. Даже если я стану сопротивляться, даже если буду с тобой драться, даже если наговорю тебе кучу неправды и скажу, что это была всего лишь шутка, что я никогда не собирался, что уйди и оставь меня в покое — даже тогда...

пожалуйста... не... уходи. Даже тогда... умоляю тебя... не оставляй... меня одного. Даже тогда... вот тогда, Лань Чжань... заberi меня с собой... Навсегда, насовсем заberi меня с собой...

...в Гу...

<http://tl.rulate.ru/book/70897/1896808>